63.3(2Р5)5
Е 54

С. Я. Елпатьевский.

ПО СИБИРСКИМ ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ.

Отрывки из воспоминаний.

Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ".
Ул. Кропоткина (б. Пречистенка), 17. ⟹ Тел. 1-63-64.
МОСКВА—1924.

Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ“.
Москва, ул. Кропоткина (б. Пречистенка), 17. Тел. 1-63-64.

на 1924 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1924 г.

на ежемесячный журнал

„ПРАВО и ЖИЗНЬ“.

Под редакцией профессоров

А. М. Винавера, М. Н. Гернета и А. Н. Трайнина.

Журнал посвящен вопросам права
и экономического строительства.

Журнал издается в объеме 6—7 листов в месяц.

В выпущенных №№ журнала помещены статьи авторов: проф. М. М. Агаркова, проф. А. М. Винавера, проф. В. Ю. Вольфа, Н. Н. Гедеонова, проф. М. Н. Гернета, проф. Н. Н. Голубева, Л. Гольдина, проф. М. М. Гродзинского, Н. П. Дмитревского, проф. Н. А. Захарова, проф. М. Д. Загряцкого, Д. И. Иваницкого, проф. М. М. Исаева, Я. А. Канторовича, проф. Г. М. Колоножникова, А. Колосова, акад. А. Ф. Кони, проф. С. А. Котляревского, проф. К. А. Кузнецова, В. И. Куфаева, проф. А. М. Ладыженского, И. А. Лури, проф. П. И. Люблинского, В. С. Малченко, проф. И. Б. Новицкого, А. Пионтковского, проф. Н. Н. Полянского, проф. Б. Д. Плетнева, Д. П. Родина, А. С. Тагера, проф. Н. М. Тоцкого, проф. А. Н. Трайнина, проф. Б. Б. Черепахина, проф. Т. М. Яблочкова и др.

Кн. 1-я, 2-я [illegible] распроданы; кн. 3-я за 1922 г. имеется в продаже в ограниченном количестве экземпляров.

С. Я. Елпатьевский.

Кемеровская областная библиотека
СЕКТОР СПЕЦХРАНЕНИЯ

ПО СИБИРСКИМ ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ.

Отрывки из воспоминаний.

Всесоюзное о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев
БИБЛИОТЕКА
241502

Кемеровская областная библиотека
ОСНОВНОЙ ФОНД

Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ“.
Ул. Кропоткина (б. Пречистенка), 17. — Тел. 1-63-64.
МОСКВА—1924.

Главлит № 15501. Тираж 3000 экз.

Мосполиграф. 27 тип. „Красная Печать“, Остоженка, 10.

ПО СИБИРСКИМ ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ.

(Отрывки из воспоминаний).

От Уфы до Перми—на лошадях, от Перми до Екатеринбурга—поездом, от Екатеринбурга до Тюмени опять на лошадях—по шести арестантов на телегу, задержка—в Тюмени, и мы дождались, наконец, отправки по сибирским рекам в Томск.

Длинную, черную баржу битком наколотили арестантами; нас политических—мою семью—устроили на корме, в аптечке, где помещался со своими скудными медикаментами фельдшер, сопровождавший партию. Сплошная железная решетка отделяла нас от палубы, где целыми днями толпилась арестантская масса.

Медленно тянет пароход нашу баржу, медленно плывут мимо нас чужие берега. Проплыл Тобольск, поднявшийся из воды на высоком выступе, а потом берега снизились и становились все шире и ниже, и пошло все плоское, низкое, тусклое. Девять дней, девять ночей, бессолнечных дней, безлунных ночей... Низкое, тяжелое небо придавило землю и мутную реку.

Моросит нескончаемый, мелкий, холодный дождь, серая мгла окутывает смутные дали. Не видно берегов, нет даже реки, так медленно льется вода, и временами кажется, что мы плывем по огромному, бесконечному озеру. Выныривают чуть поднимающиеся над водой лесистые острова, а за островами опять вода и опять острова. И дальше, и дальше...

— Сколько верст здесь ширины Обь?—спрашиваю я фельдшера.

Он долго смотрит на необозримую, безбрежную реку, на далекие острова и говорит:

— Лямин Сор это место называется...—верст 80 тянется. Капитан сказывал—Обь здесь шириной около 300 верст, а, может, и все пятьсот, кто их считал...

Пустыня, пустыня... Нигде не вьется дымок из человеческого жилья, не выглянет из-за леса шпиль церковки или мечети. Изредка посвищет пароход, и мы пристаем к пустынному берегу. Кто-то там приготовил для нас дрова, выйдет из темного, огромного леса одинокий человек, сторожащий дрова, натаскают матросы дров на пароход, и опять плывем по безлодной, пустынной реке. Раза два к нашей барже подплывали на своих скорлупках-лодочках остяки. Они протягивают связки стерлядей и молят, чтобы им дали хлеба, и жадно смотрят на рваную рубашку, которую им протягиваю с баржи. Они плоские, низенькие, на коротких ногах, и лица их бледны, и печаль стоит в глазах, и жалобой звучит их мягкая, плоская, сюсюкающая речь. Бывает ли улыбка на этих лицах, входит ли когда-нибудь радость в их сердца? Сходит с лица их это печальное, молящее выражение?

Изредка буйное веселье ворвется в арестантские души. Запоют разухабистые песни, несутся дикие крики, пляшут-звенят кандальные ноги,—и потом тихо, жутко тихо. Крикнет пароход одиноким, печальным криком, словно спрашивает,—есть ли жив человек?—и опять тихо, пустыня молчит, человек не отзывается.

Арестантов отгоняют от решетки, чтобы не разговаривали с нами, и все-таки нет-нет урвется кто-нибудь посоветоваться со мной, с просьбой—всегда с одной и той же—чтобы его, арестанта, воротить в «Рассею» домой, чтобы я написал такую бумагу, которая могла бы вернуть его в «первобытное состояние». И пользуется каждой минутой отхода часового немолодой арестант, бледный, худой, с изношенным, когда-то красивым, интеллигентным лицом и просит-молит меня все об одном:

— Морфия, доктор, морфия! Умоляю! С Перми не впрыскивал. Ужасно! Не могу! Хоть на одно впрыскивание!

Морфия в аптечке нет, и измученный человек приносит мне старый-старый, перевязанный ниточками, шприц, и говорит:

— Возьмите от меня... чтобы глаза мои не видели...

Все нет солнца, все льет холодный, мелкий дождь, все серая мгла окутывает смутные дали...

В Томской пересыльной тюрьме.

Томская тюрьма—самая большая из всех тюрем Европейской России и Сибири, чрез которые мне приходилось проходить. При мне в ней скопилось около двух тысяч человек—так говорили надзиратели—и огромный тюремный двор с утра до вечера был переполнен арестантами.

Нравы были давние, крепко укоренившиеся. Как-то ночью в коридоре, ведущем в уборную, я увидел через окно, как часовой подавал на штыке кишку со спиртом арестанту, перегнувшемуся в форточку и ловившему рукой кишку. Рядом с нашей камерой помещалась огромная женская камера, у дверей постоянно стоял надзиратель, за 20 копеек отпирал дверь и впускал мужчин-арестантов в образовавшийся, таким образом, публичный дом.

Как-то днем, когда арестантская толпа расходилась на обед, на дворе оказалось пять трупов,—ни криков, ни борьбы, повидимому, не было. Знакомые бродяги рассказали мне, что казнили предателей, доносчиков, и пояснили, что так повелось исстари, что преступления против арестантской этики карались именно в Томске, хотя бы они были совершены далеко от Томска, в тюрьмах Европейской России.

Кажется, никакого следствия по поводу этого убийства и не происходило. И вообще мне казалось, что начальство,—за две недели моей жизни в этой тюрьме я не видел тюремного начальства, — боялось арестантов и избегало вмешиваться в арестантские конфликты, что в сущности порядок жизни, правила и обычаи устанавливала арестантская масса. Правила арестантская знать, верхи массы—старые, знаменитые бродяги, властные, сильные волей каторжане.

Я познакомился с главарями. «Политики» пользовались тогда большим уважением арестантской массы, и я, в качестве такового, получил почетное приглашение итти в баню в первую очередь. Нас было всего 7—8 человек: кроме меня, все бродяги и важные каторжане. В предбаннике староста указал мне на двух старых бродяг и полушопотом советовал мне посмотреть, как у одного, когда он распарится, выступят на спине рубцы от шпицрутенов, у другого—клейма на лице, от ушедших в предание наказаний. Рубцы я видел, а подходить близко к другому, чтобы рассмотреть клейма, я не решился.

Я потом встречался с бродягами на тюремном дворе, один из них говорил по-французски, говорили—знал и немецкий язык.

Надзиратели получали нищенское содержание и пробавлялись доходами от арестантов. Были из них и ссыльные, и даже не очень давно освободившиеся из этой же тюрьмы. В нашей камере надзирателем был подполковник артиллерии, не потерявший военной выправки, полный, с великолепными черными баками. Подполковник проиграл в карты и прокутил казенные деньги, за что и был сослан на поселение. Он все ждал «бумаги» и был непоколебимо уверен, что получит ее,— которую выхлопочет у царя дядя—важный артиллерийский генерал, и которая вернет его «в первобытное состояние», а пока что поступил надзирателем в ту же тюрьму, из которой только за месяц до моего прихода он вышел на волю. Он ни за кем и ни за чем не надзирал и охотно относил наши письма без просмотра на почту, исполнял в городе всякие наши поручения.

Наша камера называлась «дворянская», и обитатели ее были из привилегированных классов. Недолго прожил у нас пришедший с нашей же партией почтмейстер из одной из южных губерний, солидный мужчина с начальственными манерами, удивительно спокойный и неогорченный. Он был сослан за похищение казенных денег, повидимому, припрятал их и никакого огорчения от ссылки не испытывал. Он говорил, что в Томске ему приготовлено место, и он хорошо устроится. Кажется, так и случилось, — он скоро вышел на свободу.

В нашей же камере находилась большая шайка «червонных валетов»—знаменитых московских мошенников, чей процесс наделал тогда большого шуму. Никакая группа непривилегированных уголовных арестантов не производила такого отталкивающего впечатления, как эти шумные, наглые, грубые люди. Приходилось быть постоянно настороже и смотреть за своими вещами. К счастью, мне только несколько дней пришлось прожить с ними.

Первым встретившим меня в камере был человек средних лет, с аккуратно содержимой бородкой, с золотым пенснэ на

носу, хорошо одетый—висевший на одном плече арестанский халат казался небрежно накинутым плащом — и только кандалы на ногах являлись диссонансом в корректной фигуре почтенного обывателя. Он тотчас же отрекомендовался мне, назвав немецкую фамилию; познакомил меня со своей женой, добровольно следовавшей за ним, и в тот же вечер рассказал мне свою несовсем обычную историю. Его процесс—я читал отчеты о нем еще в Уфе—в свое время обошел много газет. Шмидт — я так буду называть его — был из московской состоятельной немецкой семьи: один брат был присяжный поверенный, другой — доктор. Молодым человеком Шмидт влюбился в московскую купчиху, был с ней в связи и стрелял в ее мужа за то, что тот бил свою жену. Присудили его в каторгу, из каторги он бежал и успел перевалить через Урал, но в Пермской губернии был схвачен и снова отправлен в Сибирь. Второй раз он убежал умнее: назвался крестьянином одной из центральных губерний. Товарищ по бродяжеству рассказал ему, что его односельчанин давно ушел из деревни в поисках новой жизни и умер на глазах его в Сибири и что и по возрасту, и по наружности этот умерший подходил к Шмидту. Товарищ так подробно и точно рассказал о деревне, об отце и матери умершего, о дядях и тетках, обо всей родне, что Шмидт, когда был доставлен в указанную деревню на опознание, узнал своих новых родственников, мог назвать их по имени и отчеству. Он образно рассказывал мне, как привезли его в деревню, как полез он на палати здороваться с матерью, уже ослепшей, как целовался с дядей и тетками, справлялся о двоюродных и как все, начиная с матери, в голос признали:

— Наша кровь.

Недели две Шмидт прожил в деревне, все время ходил в гости по родным, пировал на свадьбах—дело было осенью,— а потом достал у волостного писаря паспорт и уехал в Одессу, где, благодаря знанию французского и немецкого языка, принят был швейцаром в лучшую гостиницу в Одессе и довольно скоро сделался управляющим этой гостиницы. И жил припеваючи, завел обширные знакомства, женился под своей крестьянской фамилией и сделался почтенным гражданином города Одессы.

И вот случилось, что мимо стеклянной стены его конторы проходил прокурор, товарищ его по гимназии, он тотчас же признал Шмидта и тут же распорядился арестовать его. Шмидт

говорил мне, что поступок прокурора возбудил общее негодование в Одессе, заставившее его даже перевестись в другой город.

Шмидта, конечно, присудили в каторгу, но он был уверен, что до каторги не дойдет и что его освободят в Томске, так как за него хлопотали важные люди в Одессе, и в особенности надеялся он на какую-то очень важную петербургскую княгиню или графиню, которая была совладелицей гостиницы, где он служил. Так оно и случилось.

Как-то приехал в тюрьму тогдашний тюменский губернатор Красовский. Во время моего студенчества он был инспектором студентов в Московском университете и знал меня — раз даже он без моей просьбы предложил мне урок. Я не знаю, признал ли он меня, он очень любезно спросил, не нужно ли мне что-нибудь и как-то недоумело посмотрел на меня, когда я ответил, что мне ничего не нужно. Потом он долго беседовал со Шмидтом; из доносившихся до меня обрывков разговора мне уже тогда стало ясно, что губернатор получил откуда-то свыше письмо о Шмидте, и что надежда последнего на близкое освобождение не так уже фантастична. Впоследствии, когда я уже был на месте ссылки, до меня дошла весть, что по распоряжению властей Шмидт был освидетельствован врачебной комиссией, признавшей в нем тяжелую болезнь сердца, и что каторга была заменена ему поселением в Томской губернии.

У Шмидта оказалось несколько знакомых арестантов по прежним бродяжествам, и как-то раз, когда я с ним гулял во дворе, к нему подошел один из бродяг, и они стали обниматься. Шмидт рассказал мне, что именно с этим товарищем он бежал первый раз из каторги, и что этот бродяга спас ему жизнь, когда они переплывали какую-то реку и обессилевший Шмидт стал тонуть.

Накануне нашей отправки к нам присоединили политическую, Софью Васильевну Никитину, только что прибывшую на барже с офицерской партией. В этот раз мне не удалось познакомиться с офицерами, так как они были заключены в другом помещении, и наше знакомство состоялось только через месяц в Ачинской тюрьме.

От Томска до Ачинска.

В половине сентября в 1884 году, после двухнедельного сидения в Томской пересыльной тюрьме, наша партия—двести слишком человек—двинулась, наконец, в путь.

Прошли те блаженные времена, когда политических везли, как Влад. Гал. Короленко, с жандармами на почтовых,—политических приказано было отправлять с уголовными партиями в обычных условиях этапного путешествия.

Преимущество было одно: под политических полагалась подвода, но тянуться шагом было скучно, я сразу пошел пешком и почти всю дорогу от Томска до Красноярска прошел пешком с партией.

Была ядреная, бодрая, сибирская осень. Светило солнце, утренние заморозки не давали расползаться грязи. Справа и слева тянулся лес, временами раздвигаясь, чтобы дать место человеческому жилью, деревням, селам, и снова сдвигаясь, но настоящей тайги еще не было. Лес был редкий, низкорослый и ничем не отличался от перелесков центральной России.

Далеко растянулась арестантская партия. Партия была семейная, много было женщин и детей. Впереди шли арестанты, потом следовали телеги с женщинами и детьми, а потом подводы с арестантским имуществом. Партию сопровождали справа и слева конвойные, но не было ничего мрачного в общей картине. Мне казалось — арестанты шли сами по себе, солдаты шли сами по себе, они присаживались к возчикам-крестьянам, оставляя большие промежутки без охраны. И мне казалось, что не очень трудно было бы при желании вырваться из арестантской толпы и скрыться в лесу. Вся партия с детьми, бегавшими по опушке леса за красными ягодами шиповника, казалась собранием людей, добровольно снявшихся с места и куда-то пробирающихся на новые места.

Меня догнал конвойный офицер, которому должно быть тоже было скучно тащиться шагом за партией в своей бричке, и который тоже шел пешком.

— Бывают у вас случаи побегов?— спросил я.

— О, нет... Сами арестанты за этим наблюдают.

Офицер рассказывал мне об арестантских нравах, о той неписаной конституции, которая многолетним опытом выраба-

тывалась между ними, конвойными, начальством и арестантскими партиями, в силу которой одна сторона предоставляла некоторые льготы, не предусмотренные петербургскими правилами, а другая морально обязывалась не допускать побегов.

— Да и какой смысл бежать им в пути?— говорил конвойный офицер.—Из каторги и то не так уж мудрено уйти, а поселенцу совсем уж просто. Да вот вам...

Навстречу партии, прижимаясь к опушке леса, шел большой, бородатый, коренастый путник в полном вооружении сибирского бродяги — с котомкой за плечами, с котелком у пояса. Капитан окликнул его. Путник подошел к нам и, улыбаясь, снял шапку.

— Здравия желаю, ваше благородие!

— Когда ушел?—спросил капитан.—В прошлом году?

— Никак нет,—с некоторой даже обидой говорил бродяга,—в позапрошлом. Два года прожил.

— До дому?

— Да уж так приходится, ваше благородие. В Рассею... Не поглянулось. Счастливо оставаться...

«Преступник» двинулся дальше, к Томску, а предержащая власть шествовала по своему пути и раздумчиво говорила:

— Врет... Хорошо помню — в прошлом году шел. Тоже осенью...

Партия двигалась медленно. 20—25 верст — обычный станок—партия проходила 7—8 часов, и все-таки в первые дни мы приходили на этап рано, засветло—в 2—3 часа дня. Перед приходом на этап всегда повторялась одна и та же сцена. Передние ускоряли шаги и, когда открывались этапные ворота, арестанты, как безумные, толкая и давя друг друга, врывались во двор и бежали в камеры. Важно было войти раньше, так как только первые — и то всегда это были каторжане, знать партии — могли занять места на нарах. Опоздавшим (шпанке) приходилось размещаться под нарами и просто на полу. А занявшие места также стремительно бежали во двор, чтобы успеть запастись кипятком, пока он горяч.

В особенности большая суматоха, нередко и драки, была на так называемых «полу-этапах».

Порядок следования партии был таков. Один переход кончался полуэтапом, где партия только ночевала, а следующий переход кончался этапом «дневкой», где партия проводила две

ночи и целый день. Этапы были довольно большими зданиями с высокими камерами, где нары были в два этажа и где хотя и тесно, но партия все-таки могла кое-как разместиться. «Полуэтапы» были маленькие, в четырех небольших низких камерах, из которых одна отводилась для нас политических [1]) — приходилось размещать около 200 человек. Теснота была невероятная, люди лежали не только под нарами, но занимали весь пол, лежали плечо к плечу.

К тому же арестантов запирали почему-то рано, и по ночам творилось нечто неописуемое. Долго из камер слышалась ругань из-за мест, скоро становилось душно и смрадно. И время от времени по ночам раздавались крики и ругательства, и мы знали, в чем дело. В коридоре, в который выходили все четыре камеры, по обеим сторонам входной двери ставились два огромных чана, совершенно одинаковой формы и величины,—один с водой для питья, а другой как параша. И вот случалось, что сонные дети, а иногда и взрослые, особенно тифозные, ошибались в назначении чанов...

На этапах, где полагалась дневка, партия отдыхала, мылась, чистилась, откармливалась. Весь день, с утра до ночи на этапном дворе шла оживленная торговля. Местные бабы выносили чугуны с горячими мясными щами, горшки со всякой вареной и жареной снедью, мясом, свининой, жареными рябчиками и курами, с неизбежными сибирскими шаньгами [2]). Все это продавалось удивительно дешево: помню пара рябчиков 15 копеек. У кого не было денег, шла меновая торговля. В те времена железной дороги не было, все местное было дешево, а привозное — дорого. Какой-нибудь ношеный платок, старая юбка, прослужившая службу на плечах арестанта рубашка расценивались, как крупные ценности.

Много зависело от начальников этапов. Были злые, и даже не злые, а просто бестолковые, неряшливые люди, которым очевидно надоело сидение по глухим этапам, возня с арестантскими партиями. У таких все было грязно и бестолково. Камеры и нары оставались немытые и неметеные со всем тем, что оставляли после себя последние проходившие партии. Солдаты

---

[1]) На полуэтапах в нашей камере помещались и уголовные— 5—6 человек из верхов партии.

[2]) Лепешки из кислого теста, смазанные сметаной.

таких команд были грубые и тоже бестолковые. Кипяток во время не был готов; раньше, чем следует, запирали арестантов. Являлись нелепые стеснения, возникали конфликты с криками и руганью, несерьезные, так как начальники все-таки боялись арестантов, но напрасные и излишние, раздражавшие партию. Помню, бывали случаи: при утренней отправке партии офицер, обязанный сопровождать партию, садится в свою бричку и полной рысью уезжает вперед до следующего этапа, оставляя партию на солдат.

И арестанты, знавшие всех и все, смеялись:

— Ну, теперь закатился! Вышивка будет здоровая, и картеж на два дня.

За то хозяйственных и благодушных начальников партия высоко ценила. Помню еще до Томска, между Екатеринбургом и Тюменью, когда мы подъезжали к Камышлову, сидевшие на нашей телеге каторжане весело говорили:

— Здесь отдохнем. Добрейшей души начальник. Хороший человек.

И действительно, встреча была совершенно неожиданная. Нары были вымыты, пол посыпан песком, разбросаны были веточки пихты и ели и был славный запах хвои. И первый человек, встретивший нас в Камышловской тюрьме, был старичок-арестант с тазом воды и чистым полотенцем на плече.

— Помыться не желаете ли? Пыльно в дороге...

Мы с наслаждением мылись и вытирались чистым полотенцем, когда в камеру вошел смотритель тюрьмы, худой и бледный, чахоточного вида человек в стареньком мундире.

— Я к вам с просьбой, господин доктор,—обратился он ко мне.—Дети у меня в кори, не можете ли посмотреть.

Мы пошли к маленькому домику в том же тюремном дворе. Были гости у смотрителя: почтовый чиновник с женой, кто-то еще. На столике в углу стояли водка, домашние наливки и скромная закуска. Дети уже выздоравливали, моя помощь была в сущности не нужна, и мне показалось, что смотритель вызвал меня не для детей, а просто позвал в гости, чтобы дать вздохнуть бродившему по тюрьмам и этапам человеку. Тотчас же после осмотра детей, когда я успокоил смотрителя и жену его и собрался было уходить, меня повели к столику и стали уговаривать провести с ними вечерок.

— Побеседуйте... Уж не обессудьте, чем богаты...

Они были искренно огорчены, когда я отказался и заявил, что не желаю, чтобы из-за меня смотритель получил неприятность в случае какого-нибудь доноса на незаконное пребывание в его квартире арестанта, да еще политического. В камерах было общее веселье и общие похвалы хорошему человеку. Вымытые, на чистых нарах, лежали арестанты за чаепитием со всякой снедью, которую успели закупить на тюремном дворе.

Так же повеселели арестанты, когда мы подходили к Мариинску. И так же говорили:

— Там отдохнем... Хороший человек. Не теснит...

В камеру вошел смотритель, седенький маленький старичок, чуточку выпивший, и отрекомендовался мне.

— С детьми идете? Ну, здоровы и слава богу. Не надо ли вам чего-нибудь, доктор?

Я не собирался ни о чем просить.

— Чаю из самовара напиться бы, — как-то вырвалось у меня.

— Это мы живой рукой.

Старичок распорядился, скоро нам принесли кипящий самовар, смотритель остался у нас чай пить. Много рассказывал он про свою долгую службу и расчувствовался.

— Да, все гонят. И теперь гонят. А кабы вы видели, что было в 60-х годах после польского восстания! Боже мой! Боже мой! Тысячи прошли вот тут через мои руки. Хорошие люди. Всякие были: и бедные и богатые—все потеряли. Помню, графчик один шел, совсем мальчик, лет 16—17-ти, красавчик из себя, говорят, из первых богачей в своем месте, а чуть не босиком шел, в опорках.

И смотритель заплакал.

— Тоже поэта Михайлова, наверное слышали, тоже везли, видел. Худой такой...

Должно быть скучно было старику. Он долго не уходил от нас. Арестанты действительно отдыхали, никто не теснил. Старосте с несколькими арестантами разрешено было пойти в город за покупками для партии. В камерах было чисто, особенно много было торговок на тюремном дворе, кипяток в изобилии. Появилась, конечно, и водочка.

Наша партия была семейная, большинство состояло из женщин и детей. Кроме отцов и мужей, были, впрочем, и одино-

кие арестанты, потерявшие по тюрьмам своих жен и продолжавшие числиться в семейной партии. Знаменитостей арестантских—старых бродяг, громких грабителей и убийц—не было. Партия была смирная. Старостой был огромного роста, с холеными бакенбардами, петербургский швейцар одного из великосветских домов, шедший в каторгу за убийство. Его скоро, впрочем, партия сменила за воровство кормовых денег.

На первом же этапе ко мне подошел знакомиться помощник старосты, красивый арестант, лет 35. Дружелюбно и даже с некоторым торжеством он отрекомендовался мне:

— В жандармах служил... Как же, помилуйте, очень хорошо с политическими знаком. Сколько обысков производил! Может быть, знавали господина Реву [1]). Ведь я его в Архангельск отвозил.

И по его радостному и дружелюбному тону видно было, что он гордился своим обширным знакомством с политическими и, повидимому, считал, что у него была интимная связь, некоторое содружество с политическими, какого не имела окружавшая его арестантская шпанка.

— Как же это вас угораздило?—спрашиваю я его, указывая на кандалы на его ногах.

— А глупое дело. По праздничному быту...—И долго и путано стал объяснять мне: — Давняя склока у меня с дядей выходила. Из-за земли: купчая была родовая. Ну, приехал я в побывку к себе в Тамбовскую губернию. Известно, праздник. Разговоры разные с дядей. Только вижу я, лезет он ночью в окно,—ну я его вроде, как топором.

И никакого огорчения по случаю убийства «вроде, как топором», своего дяди, повидимому, он не чувствовал. И вообще он был, пожалуй, самым веселым арестантом в партии. Жена его умерла в Тюмени, он продолжал итти, как семейный. Повидимому, он не особенно огорчался смертью жены и широко пользовался своим привилегированным положением одинокого мужчины среди одиночек-женщин нашей партии.

Ярче выступали на фоне арестантской массы женские фигуры. Помню двух неразлучных, хотя и вечно ссорившихся женщин. Одна — московская купчиха, шедшая в каторгу за отравление мужа — писаная красавица, с строгим лицом, со-

---

[1]) Рева — довольно известный литератор в 70-х и 80-х годах.

болиными бровями, полная, белотелая, розовая, другая—немка из Риги, тоненькая, казавшаяся 17—18-летней девочкой, с ясными голубыми глазами и прелестными белокурыми локонами, обрамлявшими юное личико, следовавшая в вечную каторгу за убийство матери.

И было дико слушать их громкие скабрезные разговоры, где все вещи назывались своими именами, и вырывавшиеся у них циничные, отвратительные ругательства, какие не часто услышишь от мужчин-арестантов, которыми ругались они между собой и с другими арестантками. Очевидно тюрьмы и этапы быстро сняли с них обычное обывательское обличье, культурную внешность, то, что называется приличием, и прежде всего женскую стыдливость.

Рано утром партия ждет отправки. В толпе немка и купчиха переругиваются и хвастают друг перед другом.

— У меня ныне староста ночевал...—хвастается немка.

— А со мной фельдфебель спал...—победоносно говорит купчиха.

Была еще одна, сосредоточившая на себя общее внимание партии. Уральская казачка, высокая, стройная, красивая строгой красотой, с огромными черными глазами на бледном лице, вся в черном, с низко надвинутым платком на голове, вечно молчаливая, она была, как монахиня, сошедшая с картины Нестерова. И было что-то в ее властном лице, в ее напряженных глазах, смотревших из-под темных бровей, что останавливало всякие поползновения арестантов-ухаживателей. Она шла в каторгу за то, что задушила мужа, с нею шла и мать ее, помогавшая дочери душить мужа. Все знали, что впереди с холостой партией идет в каторгу возлюбленный казачки, принимавший участие в убийстве, и вся партия интересовалась, получит ли казачка на следующем этапе весточку от возлюбленного, аккуратно присылавшего с обратными [1]) вести о себе.

Кроме меня с семьей, в партии следовала только одна политическая—Софья Васильевна Никитина. Она была типичная революционерка-народоволка конца 70-х, начала 80-х годов. Дочь священника Волкова кладбища,—брат ее был ректором

---

[1]) Обратные—возвращавшиеся после отбытия наказания арестанты шли тем же путем, теми же этапами и служившие своего рода почтой, оповещавшей, что делается в тюрьмах и на этапах.

Петербургского университета, а потом вице-президентом академии наук,— она была в юности свидетельницей политических похорон на Волковом кладбище, и, повидимому, они и заложили в ее душу революционное настроение. Как-то, смеясь, она рассказывала мне, что первое преступление она совершила гимназисткой 14 лет тем, что украсила цветами могилу похороненного, накануне умершего в тюрьме политического, на чем и была поймана. С. В. была курсистка Бестужевских курсов и одной из ее революционных функций—было поддержание связи с петербургскими писателями. Она бывала у Н. К. Михайловского, довольно близко знала Г. И. Успенского. Умная, с серьезной эрудицией, энергичная и очень привлекательная, она, вероятно, с успехом делала свое дело.

Мы, политические, были на особом положении. Нам отводилась отдельная камера; кроме общего конвоя, при нас состояли два солдата, специально для наблюдения за нами, безотлучно сопровождавшие нашу телегу, ночевавшие в нашей камере и не переменявшиеся всю дорогу. Повидимому, кроме усиления надзора над нами и предупреждения побегов, преследовалась и другая цель—возможное изолирование нас, политических, от арестантской массы. Это было не слишком умно и плохо достигало цели. Нельзя было устранить постоянного общения в пути и по необходимости общей жизни на этапах. И потом, как я уже упоминал, в тесных зданиях полуэтапов в нашу камеру помещались 5—6 арестантов—знати арестантской, т.-е. самых влиятельных людей в партии. С двумя нашими стражами у нас сложились и продолжались всю дорогу наилучшие отношения. Оба солдата были сибиряки, прекрасные охотники и оба с гордостью показывали мне серебряные часы, полученные ими, как премию за учебную стрельбу. Они были дети ссыльных — отец одного из них был сослан за бунт против помещика,— и особыми верноподданническими чувствами коренной России они не отличались. И кроме того, помимо общего отношения сибиряков к ссыльным, как к несчастненьким, у них было специальное почтение к политическим. Они не разбирались в моих политических грехах, но им смутно импонировала деятельность революционной партии и в особенности та исключительная храбрость, которую проявляли революционеры.

Особая дружба образовалась у них с моими детьми. Сыну моему было 7 лет, дочери 6 лет, и оба они не задолго до ссылки

погрузились в тайны чтения и письма и, охваченные энтузиазмом перед величием знания и жаждой прозелитизма, решили сообщить все свои познания этим двум неграмотным солдатам. И вот на этапах, когда оканчивались совместные ужины и чаепития, дети и солдаты с огарком свечки забирались на верхние нары, и начиналась учеба. Иногда возникали недоразумения между учителями и учениками:

— Ты же сказывала ночесь,—слышалась с нар реплика солдата моей дочке,—вот как надо, а теперь сказываешь по другому.

Поднимался спор, в котором иногда и нам приходилось принимать участие. Я не помню, какие были результаты классных занятий, но рвение и у наставников и у воспитанников было огромное. И учеба не прерывалась все путешествие от Томска до Ачинска, где мы расстались с этими чудесными нашими стражами.

Хорошие отношения сложились у нас и с арестантской партией. Влияло и указанное выше уважение к политическим и то, что я был доктор. Перед отправкой из Уфы я запасся небольшой аптечкой, в Мариинске доктор, осматривавший партию, пополнил мои запасы, и я всю дорогу лечил больных. Начальство не противодействовало и, кажется, было радо. Я не много мог сделать для больных в тех условиях, в каких мы шли, но и та немногая помощь, которую я оказывал, ценилась лишенными всякой помощи арестантами. И благодарность партии выражалась иногда в трогавших меня формах.

Как на барже, когда мы ехали по Оби, так и на этапных дворах безобразная ругань, стоном стоявшая над партией, прекращалась, когда появлялись моя жена и дети, и арестанты останавливали тех, кто продолжал ругаться.

От Мариинска до Ачинска.

До Мариинска дело шло сравнительно благополучно, но зато переход от Мариинска до Ачинска был чрезвычайно тяжелый. Надвинулась глухая суровая сибирская осень. Солнце почти не показывалось, за холодным дождем шел снег, за снегом опять дождь. Дорогу развезло, ноги увязали в глинистой

30400
Кемеровская областная библиотека
ОСНОВНОЙ ФОНД
БИБЛИОТЕКА
260752

грязи, застревали телеги, ломались оси, и партия останавливалась, пока вытаскивали телегу или перегружали людей и арестантский скарб на другие телеги. Чтобы пройти обычные 20—25 верст, партия употребляла 9—10 часов. Выходить стали в 6 часов утра с рассветом, и все-таки случалось, приходили в сумерки.

А главное, появился сыпной тиф. Отдельные подозрительные случаи начались еще перед Мариинском, после него начались повальные заболевания. Очевидно, тиф был захвачен арестантами на барже или в Томской тюрьме, и инкубационный период протекал в дороге. Дети стали болеть скарлатиной и дифтеритом. Умирали в дороге, и матери везли мертвых детей до ближайшей церкви, где можно было похоронить их.

Печально выглядела партия. Все уменьшалось число нас, пешеходов, все больше подвод собиралось по деревням, и партия все растягивалась длиннее. Под снегом и дождем, в холодный ветер ехали больные скарлатиной дети, лежали сыпно-тифозные и стукались головами о перекладины телег. Становилось все холоднее и темнее. Мы въезжали в глубь Сибири, встала настоящая тайга и двумя стенами огромных, сумрачных деревьев придвинулась вплотную к дороге, и было сумрачно и в относительно ясный день [1]).

На этапах и в особенности полуэтапах творилось жестокое. Наталценная арестантами грязь разливалась зловонной жижей по коридору, по камерам. Здоровые занимали нары, тифозные валялись в грязи под нарами, на полу.

Врезался мне в память один полуэтап. Арестанты позвали меня ночью. Там выл диким, звериным воем тифозный больной и не давал никому спать. Ноги мои хлюпали в жидкой грязи, в камере приходилось осторожно ставить ноги между занимавшими весь пол лежавшими больными, чтобы не наступить на чью-либо голову, ноги, живот. Я полез со свечкой в угол под нары. Там лежал огромный киргиз с искаженным, безумным лицом и странно светившимися белками глаз, с кровяными подтеками. Он бился головой о пол и выл диким, страшным воем. Там же близко хрипел и как-то свистел уми-

---

[1]) На одном переходе, шедшие впереди арестанты видели медведя, переходившего через дорогу.

равший от крупа мальчик. А кругом бормотали сыпно-тифозные. В Ачинске из 200 человек больше половины оказались в тифу, скарлатине и дифтерите.

Тотчас по отходе из Мариинска заболела сыпным тифом и наша спутница, С. В. Никитина, и больше недели нам пришлось везти ее, укутанную арестантскими халатами, с этапа на этап, так что в Ачинск она приехала в самом разгаре сыпного тифа.

Положение было трудное. Оставлять ее одну в Ачинской тюремной больнице, без достаточного ухода, в сомнительной обстановке, мне не хотелось, и я решил выписаться из маршрутной семейной партии и остаться в Ачинске до выздоровления Никитиной. Мне удалось это, удалось даже создать некоторые условия, нужные для ее лечения.

Помог счастливый случай. Скоро по водворении нас в Ачинскую тюрьму к нам в камеру явился исправник—полный, краснощекий человек, в парадной форме, в новеньком мундире с орденами, и обратился ко мне с вопросом:

— Вы доктор Елпатьевский? Не родственник ли вы будете Ивану Васильевичу Елпатьевскому?

Я ответил, что это двоюродный брат моего отца. Исправник совсем расцвел.

— Вот как! Очень приятно, очень приятно! Имел честь служить под начальством вашего дядюшки. Почтенный человек. Очень приятно... Очень...

Мой родственник занимал значительный пост в Сенате, и я понял, почему исправник явился ко мне, арестанту, в таком торжественном порядке.

— Чем могу служить?—любезно осведомился исправник.

Я сказал, что мне нужно было бы сходить в город за покупками. К моему удивлению, исправник выразил немедленно согласие.

— Пожалуйста, пожалуйста... Когда вам будет угодно...

— Один могу итти?—засмеялся я.—Без конвоя?

— Конечно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

Я сказал, что не хочу подводить его и просил отправить со мной конвойного. Мы обошли город. Я запасся лекарствами для Никитиной, купил провизии, самовар, чтобы всегда иметь горячую воду. И решительно все, что мне нужно было устроить для лечения Никитиной, исправник немедленно разрешил.

Меня выписали из партии, обещали достать ванну. Тут же исправник распорядился, чтобы надзиратели носили воду для ванны, когда я потребую. И ванна, действительно, на другой же день была доставлена.

Ванна помещалась, конечно, в той же камере. Ежедневно мы клали Софью Васильевну в ванну, давали лекарства, достали вина. Тиф протекал без особых осложнений. Через неделю температура стала падать и спустилась до нормы. В это время обнаружился сыпной тиф и у моей дочки. Оставлять ее в тюремных условиях я боялся, поэтому я выписал жену и детей из своего статейного списка, и они отправились на почтовых в Красноярск [1]).

К этому времени подошла в Ачинск политическая офицерская партия, с которой Никитина ехала на барже до Томска и с которой рассталась только в Томске, чтобы присоединиться к нашей семейной партии. С. В. была в удовлетворительном состоянии, появился аппетит, она стала сидеть, сама причесывалась, в ванных не было уже надобности, и я, беспокоясь за дочь, решил отправиться вместе с офицерами. На общем совете было решено оставить с Никитиной двух офицеров по ее выбору—она выбрала Чижова и Синягина, и я вместе с остальными отправился в холостой партии.

Я уезжал с полной надеждой, что Софья Васильевна поправится, и имел от нее поручение хлопотать перед начальством, чтобы ей разрешили жить с нами в одном месте, но после моего отъезда, у Софьи Васильевны сделалось какое-то легочное осложнение, и через две недели она умерла в Ачинской тюрьме.

От Ачинска до Красноярска.

Было уже очень холодно, и тем не менее, путешествие от Ачинска до Красноярска мне вспоминается, как легкий переход в сравнении с тем, что было раньше. Партия была холостая, не было женщин, детей, не было длинного обоза, люди шли быстро и очень рано, задолго до сумерек, приходили

---

[1]) Как следовавшая за мной добровольно, жена всегда могла выписаться из партии.

на этап. А главное, не было тифа, болезней [1]). Не было стонов и криков больных и умиравших людей. И больше было порядка, больше арестантской дисциплины на этапах. Случалось, даже веселье поднималось на дневках. Один из арестантов из каких-то щепочек сделал скрипку, раздобыл как-то струны, в партии оказалась музыка.

И была приятная компания политических товарищей. С партией шли два студента—Комарницкий и Демидович, и, помимо оставшихся Чижова и Синягина, три офицера: Мицкевич, Крайский и Стратонович. Тотчас после прихода на этап торжественно вынимался мой самовар, и в камере становилось уютно. Шло бесконечное чаепитие, с долгими беседами, с рассказами про революционную деятельность, про военный быт. Помню интересные, остроумные рассказы Стратоновича о его офицерской жизни в маленьких крепостцах средней Азии, с дикими и жестокими офицерскими нравами, с единственным театром—солдатскими представлениями на масляннице царя Максимилиана.

Меня особенно заинтересовали офицеры. На воле мне редко приходилось встречаться с революционерами из военной среды. Самое интересное для меня было то, что мои спутники были не молодежь, не юноши, а люди на возрасте, долго служившие—то были солидные люди, толща, самая сердцевина русской армии. Мицкевич, с большой, черной бородой, важный, медлительный, молчаливый, был уже за 40 лет и служил ротным командиром. Кажется, ротным командиром был и Крайский. Чижов окончил минные классы и заведывал минной ротой где-то на юге России. Стратонович делил походы в Средней Азии со Скобелевым и Куропаткиным. Не юноша был и Синягин, офицер Лейб-Атаманского казачьего полка. За исключением Синягина, остальные принадлежали к южному военному революционному кружку и много рассказывали мне о революционной организации, о способах пропаганды в армии. И во всех их рассказах с особой теплотой и уважением упоминались ими имена Веры Фигнер и подполковника Ашенбреннера, очевидно, оказывавшего на них большое влияние. Очень ярко и драматично выходило у них,

---

[1]) Тиф оказался и в этой партии, но уже в Красноярске и за Красноярском.

когда они рассказывали, как после объявления приговора в присутствии выстроенных солдат ломали шпаги над их головами, и какое это огромное впечатление производило на офицеров и солдат.

Мне нравилось, что офицеры были настоящими военными людьми, знавшими свое дело и горячо интересовавшимися им. Ярко помню одну сцену. Мы пришли на этап, где к нашему удивлению все было чисто и прибрано, и даже свежие веточки пихты и ели украшали стены. К нам в камеру вошел белокурый, благодушный офицер конвойной команды, пожелавший познакомиться с «господами офицерами». Мы пригласили его к нашему чаю, и он просидел у нас до глубокой ночи. Очень скоро разговор перешел на военные темы, и мы, штатские, были свидетелями, как разгорелся горячий спор на специально военные темы о преимуществах того или иного оружия в тактических, стратегических и иных военных приемах русской и иностранной армии. Помню, я с интересом наблюдал за спорившими офицерами. Все они разгорячились. Мои спутники были в таких же серых шинелях, только без погон, как и конвойный офицер, и уже не было тут начальника этапа и следующих в ссылку политических арестантов, а были только офицеры, знавшие и понимавшие свое военное дело и горячо интересовавшиеся успехами русского оружия. Я уже засыпал, а горячий спор военных людей все продолжался.

. . . . . .

Было 30 гр. мороза при пронзительном ветре, когда мы с последнего этапа подходили к Красноярску. Партия почти бежала, и мы очень рано вошли, можно сказать, ворвались в Красноярскую тюрьму.

Была половина ноября.

Красноярск.

В Красноярске ждали меня тяжелые вести. Накануне моего приезда у моей дочки был кризис сыпного тифа, и в то же время показались дифтеритные пленки в горле, и сердце сразу ослабело. Пришедшая в тот же вечер ко мне в тюрьму моя жена рассказала, что лечивший доктор боится, что дочь моя не переживет ночь.

Из темных ночей, выпадавших в жизни на мою долю, эта была самая черная, самая страшная ночь. Закусить зубами руку—не особенно помогает внутренней боли.

На другой день меня рано выпустили на несколько часов на свидание с дочерью в гостиницу, где моя семья устроилась. Это было совершенно неожиданное разрешение. В 6 часов утра жена отправилась к губернатору и потребовала, чтобы губернатора разбудили.

И очевидно, эта исключительная настойчивость так импонировала и прислуге и самому губернатору, что он вышел в халате, принял жену и тут же дал распоряжение об отпуске меня на свидание с дочерью.

К счастью, дело кончилось благополучно. Я застал мою девочку очень слабой, но дифтеритные явления в горле шли на убыль, температура выравнивалась, сердце лучше работало.

Я пробыл несколько часов со своими и был снова отведен в тюрьму, но через несколько дней мне разрешили на время выздоровления моей дочери перебраться в гостиницу.

Болезнь дочери освободила меня от дальнейшего следования по этапам. Я тотчас же отправился к губернатору, и заявил, что после двойного заболевания, сыпным тифом и дифтеритом, моя дочь медленно поправляется, и при таких условиях отправка меня и семьи зимой по этапам за тысячу верст до Иркутска, где я должен был узнать о моем назначении, является угрозой для ее жизни. Губернатор обещал снестись с Иркутским генерал-губернатором, и через некоторое время мне было объявлено, что местом моей ссылки был назначен Енисейский округ. Дочь медленно поправлялась, и мне пришлось еще около двух недель прожить в Красноярске.

Незадолго до отъезда неожиданно ко мне в номер явился Владимир Галактионович Короленко, возвращавшийся из Якутской ссылки. Раз или два мы встречались с ним в студенческие времена в Москве, у нас был общий круг студенческих знакомств, и Владимир Галактионович разыскал меня в Красноярске.

Красивый со своими пышными, каштановыми волосами, с блестящими глазами, он был оживлен и весел. Мне пришлось потом прожить с ним долгую совместную жизнь в Нижнем-Новгороде и в Петербурге, но таким сияющим, озаренным ра-

достью, я его уже не видал. Кончились его бесконечные скитания по тюрьмам и глухим ссылкам, он возвращался в Россию на вольное житье, его ждала там семья, ждала невеста, давно любимая им девушка,—радость и оживление сияли в его глазах.

Он много рассказывал мне о своей жизни в Якутской области. Мы, молодежь, среди которой В. Г. уже тогда пользовался огромным уважением, были очень заинтересованы его первым художественным рассказом в журнале «Слово», и я поинтересовался узнать, пишет ли он. В. Г. рассказал мне, что у него накопился большой литературный материал, и что он везет с собой уже готовый для печати рассказ [1]).

Зазвенели колокольчики под дугой. Быстро мчат нас мохнатые сибирские лошадки. Триста с чем-то верст от Красноярска до Енисейска, справа и слева две стены тайги. Глубокая зима. Ярко светило солнце на синем небе. Глубокий пушистый, ослепительный белый снег кругом. Дремучая тишина, и кажется, это от звона нашего колокольчика падают снежинки с белых глыб снега, придавивших лохматые темные лапы елей, пихт и кедров. Временами развертывается белая громадная пелена застывшего Енисея и опять две стены леса: промелькнут сжатые тайгой и жмущиеся к реке деревеньки. Протянулось на несколько верст огромное село «Казачье».

1-го августа вышли мы из Уфы, 5-го декабря, т.-е. через 4 месяца, я, наконец, приехал в Енисейск, место моей ссылки.

---

[1]) Его знаменитый «Сон Макара».

Издания „ПРАВО и ЖИЗНЬ“

ПРОДАЮТСЯ:

В конторе Издательства „ПРАВО и ЖИЗНЬ“, ул. Кропоткина (б. Пречистенка), 17, и в главных книжных магазинах, складах и издательствах Москвы, Петрограда, Харькова, Екатеринослава, Киева, Одессы, Ростова н/Д, Курска, Орла, Самары, Иваново-Вознесенска, Екатеринбурга, Ярославля, Екатеринодара, Новороссийска, Баку, Тифлиса, Тюмени, Самарканда, Омска, Томска, Читы, Иркутска и др. городов.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

издания „ПРАВО и ЖИЗНЬ“:

I.

Журнал „ПРАВО и ЖИЗНЬ“ за 1922 г. кн. 3; за 1923 г. кн. 1, 2, 3, 4, кн. 5—6, кн. 7—8 и кн. 9—10 (книги 1 и 2 за 1922 г. распроданы). Цена вышедших книг по 80 к., двойных: кн. 5 и 6—1 руб. 20 к.; кн. 7 и 8—1 р. 60 к.; кн. 9 и 10—1 р. 60 к.

II.

Сборник „ЗАКОНЫ О ТОРГОВЛЕ“.

(Декреты и другие положения о внутренней и внешней торговле). Составили **С. А. Гуревич** и **Н. П. Дмитревский**, под редакцией проф. **А. М. Винавера, Н. К. Муравьева, В. Ю. Вольфа.** Томы I—IV (с общим предметным алфавитным указателем в т. III и IV). Цена первых 3-х томов по 1 р. 50 к. за том; цена т. IV—3 р.

III.

„ЗАКОНЫ О КООПЕРАЦИИ“.

Систематический сборник декретов, постановлений, инструкций, примерных уставов и проч. Составил **А. М. Долматовский**, под ред. проф. **А. М. Винавера.** Цена 5 р.

IV.

Проф. И. Б. Новицкий.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ.

(Ст. ст. 152—179 Гражд. Код. в связи с другими законами Р.С.Ф.С.Р. об имущественном найме). Комментированное издание. Цена 60 к.

V.

Проф. И. Б. Новицкий.

З А Е М.

Текст и комментарий к ст. ст. 208—219 Гражд. Кодекса. Издание 2-е, исправленное и дополн. Цена 50 к.

VI.

Проф. А. Н. Трайнин.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

(Ст ст. 126—141 Уг. Код.) 2-е комментированное издание, дополненное и измененное в соответствии с новой редакцией Угол. Кодекса. Цена 70 к.

VII.

Проф. А. А. Жижиленко.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

(Ст. ст. 105—118 Уг. Кодек.). Комментированное издан. Ц. 80 к.

VIII.

ПРОЕКТ ИТАЛЬЯНСКОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 1921 г.

Составленный комиссией под председательством **Энрико Ферри.** Перевод с итальянского проф. **М. Н. Гернета.** Цена 30 к.

IX.

А. Ф. Кони.

САМОУБИЙСТВО В ЗАКОНЕ и ЖИЗНИ.

Цена 35 коп.

X.

Проф. П. И. Люблинский.

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ.

(Ст.ст. 146—164 Угол.-Процессуального Код.). Комментирован. издан. Ц. 80 к.

XI.

Проф. Н. Н. Полянский.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС.

Сравнительный очерк новой и старой редакции. Цена 45 к.

XII.

Проф. П. И. Люблинский.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ.

Комментированное издан. Ц. 50 к.

XIII.

А. С. Тагер.

КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАН СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ.

Практич. комментарий, ст. ст. 344—350, 409—426, 400—408, 434—439. Уг. Проц. Код. Цена 1 р. 30 к.

XIV.

Проф. П. И. Люблинский.

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ В УГОЛ. СУДЕ.

Практич. комментарий к гл. IV Угол. Проц. Кодекса. Цена 80 к.

XV.

Проф. М. Н. Гернет.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДЕТСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ И В РОССИИ

Все цены в червонцах по курсу Госбанка, ежедн. публикуемому в „Известиях ЦИК СССР“.

Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ“

под общей редакцией профессоров А. М. ВИНАВЕРА, М. Н. ГЕРНЕТА и А. Н. ТРАЙНИНА.

Москва, ул. Кропоткина (б. Пречистенка), 17. Тел. 1-63-64.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

I.

Проф. А. М. Винавер.

КУПЛЯ—ПРОДАЖА.

(Ст. ст. 180—207 Гражд. Кодекса). Комментированное издание.

II.

Проф. А. Э. Вормс и Н. Г. Вавин.

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОСТЫЕ, ПОЛНЫЕ И НА ВЕРЕ.

Комментированное издание.

III.

Проф. А. Э. Вормс и С. В. Минц.

ЧАСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Сборник законов и других постановлений о частной промышленности и практический комментарий к ним.

IV.

И. И. Аншелес.

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПО ДЕЙСТВ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

V.

С. П. Ордынский.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ.

Текст и практический комментарий к ст. ст. 74—104 б. Угол. Кодекса. Под ред. проф. М. Н. Гернета и проф. А. Н. Трайнина.

VI.

Акад. **А. Ф. Кони**, проф. **А. А. Жиженко** и **П. Н. Малянтович.**

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ по УГ.-ПРОЦ. КОДЕКСУ.

Комментированное издание.

В контору Издательства поступили для продажи следующие книги:

Проф. **М. Н. ГЕРНЕТ. Моральная статистика.** (Угол. статистика и статистика самоубийств). Пособие для статистиков и криминалистов. Москва, 1922 г., 267 стр. 16 диаграмм. Цена 1 р. 50 к.

Его же. **Социальные факторы преступности.** Москва, 1905 г., 203 стр. Цена 1 р. 50 к.

Его же. **Детоубийство.** Социологическое и сравнительно-юридическое исследование. Москва, 1911 г., 318 стр., с приложением 12 диаграмм. Цена 1 р. 50 к.

Дети-преступники. Сборник статей с предисловием и под редакцией М. Н. Гернета. Москва, 1912 г., стр. 550 с 15 фотографиями в тексте и с приложением библиографических указателей. Цена 3 р. 50 к.

КНИГИ ИЗДАНИЯ „БУРЕВЕСТНИК“.

Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ“ исполняет заказы на все имеющиеся в продаже русск., иностран. учебн. и др. книги по всем отраслям знан. и по изящн. литерат.

Подбор книг и составление библиотек фундаментальных и по различного рода отдельным вопросам. Систематическая высылка всех вновь выходящих книг (новинок).

Заказы исполняются аккуратно и своевременно. Книгопродавцам скидка.